

пришлось притащить настоящую), хватался за голову и быстро начинал подметать сцену невидимым веником. Когда устроили показ, пояснял Вадик, его мастер курса, заслуженный-народный, просто встал и вышел из репетиционного зала, не произнеся ни единого слова.

У Вадика была жена, артистка с другой фамилией, но подозрительно похожая на него внешне. Ее меньше любили, реже называли по имени, почти не прислушивались к ее замечаниям и часто несправедливой критике. «На какого знаменитого актера ты похож, Олег?» – однажды пропела она новенькому, голубоглазому парню с горбатым носом и характерными истеричными выкриками. «На артиста Олега Чигирева», – приосанившись, ответил гордый маленький мальчик. «А я говорю, – издевательски продолжила Елена, – что на плохого актера Безрукова».

Вот этой их ерунды с «артистами» и «актерами», «служить» и «работать», «сцена» и «подмостки» я не понял, признаться, до сих пор. Вообще-то мне полагается уже все понимать и передавать информацию будущим поколениям – то есть младшему курсу, который набрали в прошлом году. В студии царила испокон веков заведенная дедовщина: ученики, переходившие в старшую группу, смотрели на новичков свысока, беззлобно подшучивали, давали прозвища и бесконечные непрошенные советы – а если, не дай боже, кто-то отказывался слушать, могли устроить первокурснику и маленькую победоносную войну.

А теперь, значит, Ася, девочка из младшей группы, смотрит на меня свысока – и советы дает, и оценивает своим однообразным «ничего». Я – чего! Но взбалмошной, настырной и обидчивой Асе опасно возражать – пытался не единожды, больше не хочу.

Познакомились мы так. Шел тренинг – обычное дело перед занятием, несколько дыхательных упражнений, кое-что на внимание, на голос, легкая разминка. Я уже заметил ее – темные грубые волосы, резкие черты, крутые бедра, какая-то внутренняя обида и застенчивость. Она часто приходила в школьной форме, на ходу стягивая и запихивая в сумку форменный галстук, всюду оставляла темно-синюю вязаную жилетку, в которую куталась от холода. «Ася, опять забыла!» – цокал языком кто-нибудь из дежурных, подавая ей жилетку двумя пальцами, другой рукой выключая свет за рампой. «Спасибо!» – кивала она и убегала, растрепанная, резкая, рассеянная настолько, что мне иногда становится страшно. Однажды в сентябре Ася потеряла штаны, форменные брюки то есть, и пошла домой

прямо в черном учебном трико, ничуть не стесняясь половинчатой наготы. Эта-то выходка меня и раззадорила, новенькую хотелось зацепить и проверить – я только ждал удобного случая. Другие девочки из младшей группы уважительно расспрашивали меня, что и как, воображали, пытались если не влюбить в себя, то хотя бы подружиться, – да, я слыл самым талантливым в своем наборе, куда не деться.

Этой – хоть бы хны. Эту, с потерянными штанами, не интересовало вообще ничего. И стоя позади нее на тренинге, в разгар упражнения на легкие, когда нужно набрать воздуха полной грудью, а потом резко упасть на колени, выдохнуть, оставив руки болтаться, во время очередного подхода, я наконец решился:

– Мм... белые?

Это я сказал экспромтом, глядя напрямик на ее круглую широкую задницу и краешек атласных сияющих трусов, торчавших из-под трико, когда она наклонялась. Я сказал тихо, обращаясь к Лумпянскому, клянусь, – но группа как-то разом закончила сопеть, и получилось очень... объемно. Получилось так, что это услышали все. Не поднимая корпуса, Ася повернулась ко мне, скорчив гримасу и, кажется, беззвучно послала меня туда, куда посылать, согласно правилам Дворца творчества, строго-настрого воспрещалось.

Мне пришлось найти ее в сети в тот же вечер и написать извинения – какого же труда стоило оставить при себе ехидный снисходительный тон и изображать подобие раскаяния. Ася же поступает иначе, в переписке у нее другое амплуа: осыпает тебя смайликами, шуточками и нарочно исковерканными словами, потоком нескончаемых «гыгы» и «ну лан», а потом вдруг, когда ты только-только начинаешь привыкать, выдает сложносочиненную тираду без единой ошибки, в конце еще и поучая тебя, подловив на незнании какого-нибудь факта, имени, правила. Но все это я понял много позже, а тогда чувствовал себя уверенным, взрослым и даже великодушным наставником.

Я послал Асе песню Klaxons про эхо из других миров. «Неплохо», – коротко ответила она, добавив, впрочем, два смайлика. Я пролистал ее собственные записи – что ж, могло быть и хуже. Ася не слушала, например, плохой гнусавый рэп и попсу, попсевину, как говорил Лумпянский, не любила тоже. В плей-листе у нее светилась тяжелая музыка – но подборка была очень простая, примитивная, по верхам. Говнарский, словом, вкус у моей зазнобы – и был, и есть.

Но тогда она еще зазнойбой не была. Все начиналось мирно.

Когда история с трусами была забыта (забыта, но не прощена, как я узнаю позже – о женщины! имя вам – коварство), я начал внимательнее присматриваться к тому, что делает Ася, да и вообще младшая группа на сцене. «Помогите им, – как-то в перерыве сказал Вадик нам с Лумпянским, устало потирая висок. – Слабовато в этот год, слабовато». Лумпянский помогал по-своему: слоняясь между рядами с гитарой, подсказывая к стайкам девочек и напевая песню про Гагарина, которого он, Лумпянский, любил. Потом он выпрямлялся, заводя гитару за спину, и полушутя-полусерьезно спрашивал: «Ну как?» – имея в виду, конечно, не свое исполнение, а общий боевой дух юных актрис и актрисов.

Я решил начать с Асиной компании: она уже успела подружиться с серьезной Дашей, которая читала в буфете «Огонек», и с губастой гнусавой блондинкой Яниной, которая, напротив, ничего не читала, а только нюхала табак с подлокотников. Шумных компаний Ася поначалу избегала, но шумные компании нашли ее сами: белобрысая маленькая Вичка, похожая на бешеного зайца, – она залетала в зал, оправляя клетчатую рубашку, и бежала к Асе с тонким визгом: «Миро-но-ва-а-а!» Асина фамилия вовсе не Миронова, это было бы, как говорит Вадик, «немножко слишком великолепно», – но такая уж была у них игра, называть друг друга именами любимых артистов. «Весь покрытый зеленью, абсолютно весь», – шутливо запевал я, проходя мимо Аси, но в ответ получал лишь убийственный взгляд: какой же ты неуч, раз знаешь только эту *его* роль. А я и действительно тогда знал только ее.

Всю эту заварушку с фамилиями начала их главная подружка – и немудрено, когда саму зовут Катя Колпешкина. «Катос!» – восторженно взвизгивала Ася, едва завидев Колпешкину в дверях репетиционного зала. – Катос, Атос и Портос!» Колпешкина театрально скидывала в сторону шляпу, изображала биение ногой-копытом и неслась к Асе на третьей космической (планетарных масштабов задница Катоса позволяла развивать и не такую) скорости. Она обвивала Асю, как лиана, расцеловывая в обе щеки – так она поступала со всеми, выкрикивая шутки и прозвища преувеличенно громко, стараясь привлечь как можно больше внимания – прежде всего внимания Вадика, который только морщился и хлестал чуть больше колы, чем обычно. «Я еле

терплю ее, от вас стоит ужасный шум... И потом, от помады приходится оттираться», – рисовался я перед Асей. Ну да, врал, и что? На самом деле внимание Катоса было приятно.

Маленькая, бойкая, с крашенной в каштановый цвет модной челкой, в вечной шляпе, ковбойских сапогах и жилетке, надетой на белую рубашку, Катос стремилась выделиться чем угодно: фенечками, каллиграфическим почерком, мамой-художницей, громким высоким голосом. Больше всего – громким голосом. Актрисой она была на троечку, считала, что похожа на Миллу Йовович, и все время пыталась повторить ее гримасы: широко растопыривала глаза и напускала слез, приоткрывала рот в изумлении, удивленно поднимала правую бровь, становясь почему-то похожей на чучело грызуна. Ася Катоса обожала. Она рассказывала, как ездила к ней в гости – Катя жила в частном доме где-то на окраине города, – вместе они варили пельмени с черным перцем, смотрели «Алису в Стране чудес» и вызывали духов с помощью тарелки и самодельной доски с буквами. «Посреди всего этого, – торжественным голосом поведала Ася, – Катю позвала мама, буквально орала на весь дом. Кате пришлось выйти, и, представляешь, тарелка продолжила ездить! Сама!»

К чему это я? Ах, ну да, нужно было помочь этим шумным, глуповатым и самовлюбленным девочкам. Катос и так прибегала ко мне постоянно: просила взять в этюды или пересказать, что думает о ней Вадик и мастодонты старшей группы (были у нас и такие, категория двадцать плюс, те, кто уже никогда не попадут в рай театрального, но и не хотят спускаться в обывательский ад). Ася была более гордой: себе в пару она взяла Янину, вместе они готовили этюд с украшением елки. Близился контрольный урок, Ася нервничала и все время наступала на воображаемое дерево. Мишура у нее никак не хотела ложиться по кругу, коробка с игрушками ездила, а обходя елку с гирляндой, они с Яниной все время натякались друг на друга, матерились и начинали заново. Ее трогательная сосредоточенность умиляла – вдобавок я заметил, что бесконечные шуточки и нападки все-таки вызвали какой-никакой интерес к моей персоне. Когда я был на занятии, Ася чуть чаще запинаясь, чуть больше посматривала в зал, чуть больше старалась выгибать шейку и красиво приподниматься на цыпочки, подчеркивая длину своих плотных ног. «Откуда же ты знаешь, – ехидно переспрашивает воображаемая Ася, – как я вела себя, если ты *не был* на занятии? С чем сравнил?»

Вечер перед контрольным уроком – уже шел октябрь – она написала у себя на страничке что-то вроде: «aaa! пфд». Это была аббревиатура для своих, «память физических действий». На страничке сгрудились подружки со своими стенаниями: «и не говори!», «страшно», «не переживай, все образуется». Какой-то паренек интересовался: «а что за зверь такой “пфд”?» Это неожиданно разозлило.

Я написал ей, без банальностей вроде «привета», свои соображения: нечего переживать, страшно только в первый раз. Она спросила, что показывал я, и пришлось – не без гордости – пересказать свой прошлогодний многослойный этюд. Но она только протянула всегданнее сетевое «aaa» и выключилась из беседы. Пытаясь расшевелить ее, я накидал еще немного песен, тщательно выбирая и зашифровывая посыл ничего не бояться.

Контрольный урок отмечали с размахом. Пришел Асин папа и с первого ряда шелкал на маленькую серебристую мыльницу все, что показывали младшекурсники: коллективные приготовления с помощью щеток и швабр (видимо, Вадик обиделся за свою студенческую задумку и втайне не считал ее такой уж провальной), маршировали в ногу, раскладывались на группки и фигуры, а потом работали поодиночке. Высокий худошавый Чеснок (за фамилию Счастный) ставил палатку, Кирилл рисовал пейзаж (и получил потом «единицу»), серьезная Даша серьезно пришивала воротничок к форменному платью (и, конечно, получила «пять»). Ася все-таки наткнулась на елку и заслужила «хорошо». Все вместе, старшие с младшими, мы потом ели печенье и сок в кабинетике вроде коллективной гримерки, слушали новые байки от Вадика, сплетничали с уютной старушкой Зинаидой, которая преподавала сценическую речь по средам.

Из Дворца переместились в кафе, где Ася, ни на кого не обращая внимания, заказала огромный фруктовый салат с горой взбитых сливок. Погода стояла хорошая, Лумпянский не выпускал из рук гитару – мы с Чигиревым подпевали ему: «Жизнь была пилота, жизнь кры-ы-ыла... Спа-ли-ла!» Петь внутри кафе было невозможно, мы уселись под каштан на веранде. К нам прилипла Виолетта – тоже новенькая, необъятных размеров квадратная девочка, которая валилась набок, как тюфяк, как только объявляли перерыв, и лежала на шерботом полу сцены все полчаса, заставляя других неловко переступать ее тушу. «Я не знаю, как мне похудеть», – говорила она, высывая в рот чипсыную

труху, оставшиеся на дне крошки, прямо из пакета. Виолетта, Ви, как называли ее девочки, вдобавок все время стремилась раздеться на сцене – то стянуть жаркое трико и остаться в спортивном лифчике, то показать сценку, в которой переодевается за воображаемой ширмой. Жесткие девочки доставали телефоны и делали двадцатикратный зум на приоткрывшуюся ложбинку задницы Ви, парни смущенно отворачивались.

После кафе мы почему-то остались впятером: я с Лумпянским, Ася с Катосом и Кароли – рыжеволосая девица в очках с золотистой дужкой, из «старших мастодонтов».

«Все могут Кароли, все могут Кароли», – радостно дразнил ее Лумпянский. «Моя фамилия Кароли», – раздраженно поправляла девица. У нее был склочный стержневой характер, и если актрисой Кароли была так себе, то интриганкой – на пять с плюсом. «Пожалуйста, пойдемте в “Пломбир”!» – канючила Кароли, обращаясь преимущественно к Лумпянскому. – Пожалуйста-пожалуйста!»

«Ну хорошо», – обреченно соглашался он. С Кароли, как перешептывались за кулисами, у них «когда-то что-то было», что именно и в каких объемах – не рассказывалось. Тем не менее она появлялась на всех вечеринках в доме Лумпянского раньше других, неизменно раздавая команды: кому чистить картошку, кому заводить музыку, кому бежать за еще одной. Когда Лумпянский попадал с ней в магазины, Кароли неизменно начинала клянчить у него всякие мелочи – так, я не сомневался, будет и на этот раз. Катя прилипла к Лумпянскому с другой стороны от Кароли, неизменно выпрашивая: «Ну как я была? Как?» Выгодно для меня в одиночестве оставалась Ася и, о чем-то задумавшись, плелась позади зондер-ундер-ундервуд команды из Лумпянского и двух его фанатов.

Было самое время сменить тон: я пристроился к Асе и, улучив момент, признался:

- А знаешь, ты была сегодня очень хороша.
- Правда? – Она окинула меня недоверчивым взглядом.
- Правда, – кивнул я. – Ну, по крайней мере, у многих вышло гораздо хуже.
- У кого же? – В глазах Аси загорелись злые искорки любопытства.

«Ох, эта вырастет настоящей актрисой», – подумал я.

- У многих, – начал я, незаметно подхватывая ее под руку. Такой жест в нашей компании ровным счетом ничего не значил: сцепившись локтями,

пальцев название и сразу уходить, если нужной записи не было, – а не было ее никогда и нигде. В первые-то дни я еще разводил дипломатию, перебирал пластинки The Cure и даже прикупил альбом Эми Вайнхаус, тем самым урезав подарочный фонд вполтину – придется отказаться от цветов. Если, конечно, подарок вообще найдется.

Но он нашелся – тогда, когда я уже потерял всякую надежду и собрался было подарить Асе книжку про ее любимого артиста Миронова. Этот диск был тоже про него – запись древнего-древнего, из другой эры, спектакля «Маленькие комедии большого дома». Я даже не знал о таком, хотя, с подачи той же Аси, успел изучить «Женитьбу Фигаро» и пытался, изображая главного героя, так же изящно оттопыривать мизинец, встряхивать головой и говорить колкости с широкой улыбкой. Моя пародия в смысле комического откидывания головы Асе понравилась, а вот широкую, как у лучезарного Миронова, улыбку она отвергла:

– Вот это тебе совсем не идет. Ты понимаешь, – это уже обращаясь к Кате, – ведь Миронов – герой, а Миша – комический...

Комический? О, я покажу комического!

Но диск я все-таки ей подарил: подловил перед репетицией, когда она сидела в партере одна, что-то читала к экзамену. «Привет. Как отметила? Это тебе». Увидев мой подарок, Ася чуть не захлопала в ладоши: «Ого, спасибо! Где ты его откопал?» Я был доволен, меня наполнило ощущение удовлетворенности – все эти разъезды в щелястом потном автобусе были не зря. Я гордо отошел на левую, «старшую» сторону зала, говорить с Юлей и Широковашиним. Мы задумали сложный этюд про поход в лес, Юля должна была стать яблоком раздора между мной и Широковашиним и в конце концов предпочесть его мне.

– Посмотри, – поучал я Асю, – на старшую группу. – Вы сегодня придумали свою сценку про обыск на коленке, за десять минут – да-да, не отпирайся, я слышал в буфете. Просто придумали и сразу показали после перерыва. Что в итоге получилось?

Получилось и впрямь хуже некуда: маленькая белобрысая Вичка отпиралась от таможенницы Аси, напуская в глаза влагу и беспомощно разводя руками. Ася держалась до последнего: «Что это у вас? Что это, я спрашиваю?» – но в конце концов она раскололась, а следом расхохотался и весь зал, включая Вадика с Еленой. «Спасибо, девочки, спасибо. Кто следующий?» Только резиновые перчатки они раздобыли у уборщицы, а дорожную сумку стырили в реквизиторской – вот и все приготовления.

– А Юля и Аня, – продолжал я, – сегодня пришли за час до начала. И все это время репетировали свой этюд. И завтра, я уверен, будут еще обсуждать и репетировать снова. Вот как нужно работать, понимаешь?

– Булки они жрали, твои Юля с Аней, – лениво отозвалась Ася. – Хотя этюд у них и впрямь ничего.

* * *

Приближалось пятое апреля – именины у Лумпянского. Я уговорил его позвать и Асю, хотя отношения наши продолжали быть странными. Гулять она не отказывалась – но в последний момент всегда находились какие-то срочные дела, Ася отменяла встречу или опаздывала на целый час, а когда наконец приходила ко мне, продрогшему и обозленному, даже не думала извиняться. Мы бродили с ней пару кружков: от магазина «Глобус» до ее школы, обратно дворами. Потом Ася ссылалась на занятость, уроки, бог знает что еще, и исчезала. Однажды она пришла в настроении даже хуже обычного и объявила, что к школе она больше не подойдет, и вообще встречаться лучше в центре, сразу после занятий во Дворце, если уж мне так хочется. Немного помявшись, она призналась: на прошлой неделе нас увидела ее одноклассница и потом долго допрашивала Асю в раздевалке: «А что это за мальчик был с тобой?»

– Ну и что? – гордо ответил я. – Или ты... – меня вдруг осенила мрачная догадка, – ты меня стесняешься?

Ася смутилась, неуклюже, по-дурацки совсем перевела тему: ой, смотри, вывеску на продуктовом заменили. Вывеску на продуктовом – ага.

Так я понял, что она стесняется нашей близости – одно дело в студии, где я король, талант, первая звезда старшей группы. Совсем другое – среди незнакомых девочек и мальчиков. Как-то они меня видят? Ася – такая высокая, темноволосая, большая птица – и небольшой рыжий мальчик в сером френче, который ему великоват. «Тебе нужно носить что-то подлиннее, – сказала Ася. – У тебя ноги как спичечки». «Да какого черта?» – взорвался я.

Но к Лумпянскому я все равно ее позвал – вернее, сделал так, чтобы Асю пригласил сам Лумпянский. Максим жил один – пару лет назад родители оставили ему огромную квартиру на последнем этаже новостройки. Вдобавок дом стоял на набережной, летом из окон были видны прогулочные катерки, зимой приятно было рассматривать заснеженные крыши парадного правого берега. Что и говорить, Лумпянскому несказанно повезло, и он великодуш-

но делился удачей с нами, собирая огромную, не меньше двадцати человек за раз, театральную компанию по поводу и без.

Я пришел к Лумпянскому в обед – он и Чигирев уже сидели на кухне, прикончив по банке пива. Лумпянский, вопреки обыкновению, курил и стряхивал пепел в смешное блюдечко с нарисованным грибом-боровичком – наверное, мама подарила. Он был по пояс голый, на груди красовались розовые выпуклые шрамы. «Что такое с тобой, Лумпянский?» – спросил я, когда он в первый раз снял майку при мне. Мы были на пляже, загорали на дамбе – полезть купаться в вонючее водохранилище так никто и не решился. «А, – отмахнулся Лумпянский. – Операция на сердце, это сто лет назад уже».

Колонки играли смешную регги-песню, которую недавно отрыла Юля, ко всеобщему восторгу компании. Что-то про героя, который посылает все и вся, включая себя самого. «Именно себя, именно себя – и никого другого!» – подтверждал певец.

– Скажи, Лумпянский, – заговорил я, доставая из холодильника третье пиво. – Что у тебя теперь с Юлей? Вы встречаетесь?

– Угу, – подтвердил он. – Встречаемся... или нет. Когда кино смотрим – встречаемся. А потом – пес его знает, когда как.

Чигирев заржал, запрокинув нос-клюв и показывая ровные белые зубы.

С пяти часов стали подтягиваться наши – кто с подарком вроде книжки пьес или набора медиаторов (Лумпянский аж взвизгнул от радости), кто с дуэтом из бутылки и дешевой колбасной нарезки. Оттеснив худенькую Юлю, Кароли суетилась у стола: постелила невесть откуда взявшуюся скатерть, достала тарелки с салатами и бокалы, составила подаренные бутылки в центр, подливая себе красного полусладкого. В другой комнате погасили свет, подключили дискотечную гирлянду. «Когда проснемся, будет вечер, будут вы-ход-ны-е!» – еще толком не напившись, народ уже гудел и веселился. Кто-то разбил стеклянную вазу (откуда у Лумпянского ваза?), длинный художник Глеб кружил на руках маленькую Олечку Быканову. Раздавала своих серафимок – малюсеньких куколок из ткани и бисера – блаженная Сима, высокая девушка с носом-картошкой и в вечных этнических платьях из холщи. «Держи, Миша. – Мне досталась серафимка с темными косичками и невесомыми крылышками из розовых бусин на проволоке. – На счастье».

В половине восьмого ввалилась Ася – позже всех, когда уже пришли и белобрысая Вичка, и Катос,

и даже губастая Янина, всех угощавшая пачкой нового табака. «Пробивает!» – рекомендовала она.

Я вежливо отказался, протискиваясь в прихожую.

– Привет! – улыбнулась Ася. – У меня есть подарки! В одной руке она держала бутылку какой-то мутной бодяги, в другой – набитое пахучими травами чучело домового.

– Откуда ты его взяла? – поморщился я. – А вообще похож на Максика...

Но тут из-за спины вырос Лумпянский.

– Ого, мадам Миронова! Добрый вечер, добрый вечер! – Он протиснулся к Асе, забирая ее дутую куртку и заодно прихватывая домового щепоткой пальцев.

– Извини, Лумпянский, – виновато улыбнулась Ася, скидывая кроссовки, – ничего лучше не придумала.

– Нормалек! Проходи, разувайся... Тапки, правда, все кончились, но могу эксклюзивно тебе выдать свои чистые носки.

– Выдавай! А пожрать чего-нибудь осталось?

Ася исчезла в глубине комнаты, и я поплелся за ней и Лумпянским. Ничего не оставалось делать – взерошенная сияющая Ася была в тот вечер выше любых усилий моей сломленной воли. Накануне я писал ей: «Ну что, придешь к Максику?» «Приду, – отвечала Ася. – Уже купила специальные кожаные брюки. Такие, в обтяжку, тебе понравятся».

И вот – кожаные брюки появились на сцене, действительно плотно обтягивая ее крепкую задницу и тугие бедра, поблескивая дерматином в полумраке кухни. Сверху она напялила какую-то голубую теплую кофту с серебристой звездой, кофта постоянно задиралась, обнажая пупок. Словом, мне действительно все понравилось.

В девять часов, как по команде, вся компания набилась в кухню, Юля притащила за руку отнекивающегося Лумпянского. Кароли внесла белый кремный торт со свечами – Лумпянский смущенно задул их, больше всего походя на огромного Карлсона с гитарой под мышкой. Грянуло «ура», Катя заорала, смешно сюсюкая: «Пусть всегда будет Лумпянский!» «Спасибо, друзья», – серьезно отвечал Максик.

Сели играть в фанты, Глеб жестом фокусника собрал наши носки, резинки для волос и браслетики в картонный, раскрашенный черной гуашью цилиндр. Я огляделся – Ася куда-то пропала. «Сейчас приду», – сказал я Глебу, забирая из шляпы свою красную фенечку, летний подарок Юли, у которой таких завались, все руки обвязаны. Он понимающе кивнул.

Я нашел ее сразу: Ася стояла у окна в комнате Лумпянского, подсвеченная синим светом дискотечной гирлянды. Я неслашно подкрался к ней. Она вздрогнула и обернулась.

– А-а-а, – разочарованно протянула она. – Это ты.
– А кого ты ждала? – переспросил я, садясь на подоконник. Подоконники в квартире Лумпянского были знатные, на каждом можно спать чуть ли не вдвоем, без малейшего дискомфорта. Собственно, после самых отчаянных пьянок мы ровно так и поступали. Однажды Серафима проснулась вместе с безумной Лизой, в одном лифчике и вся в отметинах губной помады. Лиза, впрочем, на падение отрицала.

Ася ничего не ответила, передернув плечами. Она сосредоточенно рассматривала даже не парадные крыши правого берега и не мокрые капли, которые барабанили по стеклу, – кажется, она изучала мельчайшую пыль, осевшую на раме за долгие месяцы без уборки.

– Почему ты грустишь? – Я потянул Асю за рукав, усаживая на подоконник. – Что-то случилось?
– Ничего не случилось, – помотала головой Ася. – Просто... просто не люблю фанты, вот и все.

«Загрустила, потому что я терся вокруг Юли и Широковашина, – виновато и радостно подумал я. Они действительно сами ко мне пристали, хотели срочно обсудить кусок из Чехова – к лету Вадик решил – таки поставить несколько рассказов, мне досталась роль учителя словесности, соблазнявшего бедную Юлю. – Ничего, сейчас мы это исправим».

Я придвинулся ближе и включил свой обычный тон балагура, выложил прошлогодние байки, истории того времени, когда все мы только-только пришли в студию, знакомились с жестким характером Вадика, привыкали к Елене и ходили пить чай к Зинаиде Дмитриевне. «Лумпянский, – говорил я, – ты думаешь, Лумпянский такой уж весельчак! Хо-хо, видела бы ты его год назад! Депрессивнее человека во всем мире не было. А Олечка? До знакомства с Глебом она была как закрытая книга, не подходил! Их свел Широковашин, хотя ему и самому Оля нравилась... А Кароли? Ты боишься Кароли?»

– Что это у тебя? – вдруг спросила Ася, указывая на мой пиджак.

Я опустил голову – из кармана торчала серафимка.
– Это... это серафимка, их делает наша Сима. Все время делает, невесть зачем, и все время нам дарит. Она же у нас рукодельница. – Я достал куклу из кармана, разглаживая нитяные волосики и расправляя крылья, которые помялись на проволоке.

– А мне не подарила, – вздохнула Ася. – Я вообще здесь немножко чужая.

Я змесьял, разглядывая ее задумчивое лицо: сегодня какие-то голубые блестки, ресницы длиннее обычного, обиженно надутая губка. На лоб упала крашеная белая прядь, я почти потянулся, чтобы завести ее за ухо, как в романтическом фильме, – но Ася раздраженно и резко убрала ее сама, опять потупив взор.

– На, – сказал я, протягивая куколку. – Дарю тебе.
– Правда? – Ася вскинула глаза. – Вот спасибо. Прилеплю на холодильник. – Она перевернула серафимку и погладила пальцем розовые пайетки, облеплявшие затылок. Не то кукла, не то мухачокотуха.

– Не за что, – прокряхтел я, по-стариковски оттопыривая нижнюю губу. – В мои года, девчоночка, мне игрушки ни к чаму.

– У тебя не получается, – нетерпеливо мотнула головой Ася. – Надо как будто закладывать верхнюю губу внутрь рта и шамкать, понимаешь? Вот так. – Она смешно скривила рот и придвинулась ближе. – Милай мой!

Теперь мы сидели щека к щеке, разглядывая город внизу.

– Красота-то какая, – продолжал паясничать я. – Ляпота!

– Ляпота! – подтвердила она. Ее оттопыренная губа прошла по краешку моего рта.

– Ты щиплешься, – капризно сказала Ася, подхватывая мою губу уголком своих.

– А может, ты? – подначил я. Светло дыхание, я ответил ей осторожным щипком.

– Нет, ты! – В ход пошли ее зубки, она легко-легко прикусила мой рот целиком.

Я, быть может, дурак – но у меня хватило ума не отвечать словами. Я повернул ее и поцеловал – долго, глубоко, робко, выхлестывая накопленную за полгода нежность, согревая равнодушную холодность грустной девочки своей дурацкой рыжей добротой.

* * *

Я вызвался проводить Асю до дома – пешком здесь было всего три остановки. «Спасибо, друзья, спасибо, дорогие, что пришли», – многозначительно бросил Лумпянский на прощание.

– Он что, обиделся, что мы бросили общий стол, да? – спросила Ася, когда мы вышли из подъезда.

– Не знаю. – Я пожал плечами. Какая разница, до Лумпянского ли сейчас? Но Ася задумчиво умолкла.

Мы шли под апрельскими звездами, которые отражались в грязных лужах – тут и там. Мне хотелось подсакивать и перепрыгивать каждую из них, увлекая за собой Асю. Так я и сделал, когда мы оказались перед особенно огромной, почти котлованом, полным черной воды, на Минской улице.

– Ты что, дурак? – Ася болтала ногами и отпихивалась. – Поставь меня сейчас же.

Зазноба и правда оказалась тяжелой – пронеся ее буквально три шага, я почувствовал, что мои ноги, «ноги-спичечки», сейчас надломятся. Я поставил Асю на землю, она поправила вязанные наушники и противно захихикала. Но себя поцеловать дала. И еще раз. И еще. Не было сил сдерживаться, глядя на ее пухлую нежную щечку и начинавшуюся в провале воротника шею. У самого дома я поцеловал ее в последний раз, со всем оставшимся пылом – держа лицо обеими руками и обцеловывая щеки, лоб, сморщенный носик...

– Ну хватит, – сказала Ася, отстраняясь. – Чао-какао, – исчезла в темной глубине подъезда.

Счастье! Счастье! Счастье!

...Длилось, впрочем, недолго.

Я не собирался никому трепаться о том, что произошло, – все получилось как-то само собой. Побродив еще по улицам, попрыгав все-таки через лужи и окончательно забрызгав свои белые джинсы, я вернулся к Лумпянскому. Компания почти рассосалась, остался Чигирев, Юля, Широковашин и почему-то белобрысяя Вичка с длинной Катей – младшекурсница, которая как-то показывала этюд с натягиванием колготок, демонстрируя всему залу дебелые бледные ноги и парашютные бежевые трусы на резинке. «Смелая девочка», – съехидничал Вадик.

Я, повторюсь, не хотел ничего говорить – но, видимо, как-то особенно светился, налился гордостью завоевателя. «Что Ася?» – участливо спросила Юля. В группе старших давным-давно догадались о нашей маленькой страстишке – о моей, прости великодушно, Ася, маленькой страстишке.

– Ничего, – джентльменски коротко ответил я и уселся поближе к батарее. – Все пучком, – и вальяжно отвалился на спинку стула.

Широковашин с Лумпянским многозначительно переглянулись.

В воскресенье она явилась – удостоила меня лишь коротким кивком, сразу подседа к Катосу и начала шептаться. При этом Катос поминутно косилась на

меня и прыскала в кулак. «Рассказывает», – удовлетворенно подумал я, хотя это их ржание, признаться, меня покорило. Но Катя эта ржала вообще надо всем, как здоровая глупая лошадь.

Зал почему-то был занят, мы набились в гримерку и сидели на длинных столах методистов – стулья тоже забрали. Задерживался Вадик, не было Зинаиды, один длинный гример по кличке Базилевс мрачно ходил взад и вперед, задевая пакеты со сменной обувью. Пришла полная добродушная Назя – психологиня из тех самых динозавров чуть за двадцать. В нашем Чехове она участвовала тоже, играла те-тушку, месила тесто.

– Привет, Миша. – Она чмокнула меня в щеку.

Так случилось, что в ту минуту я как раз подошел ближе к Асе: план состоял в том, чтобы отвлечь ее от Катоса и тихонько расспросить, как дела.

– Ой, прости, Ася, – тут же исправилась Назя, неловко хихикнув. – Я без задней мысли. – Она потерла мою щеку пальцем, вытирая след рыжей помады.

Ася уставилась на меня в недоумении. Я пожал плечами – что здесь такого?

В перерыве она сама подошла ко мне.

– Не объяснишь ли ты, Миша, – ее ледяной тон не предвещал ничего хорошего, – почему Назя вдруг извиняется передо мной? С чем поздравляет Широковашин? Почему Юля вдруг наставляет тебя беречь? Почему Лумпянский... – Тут она запнулась и покраснела.

– Я не знаю. – Я развел руками, стараясь не задеть Асю сигаретой. Мы стояли на улице, дул холодный ветер. Ася специально отвела меня за угол, чтобы «поговорить минуточку», – и наверняка остаток компании думал, что мы тут вытворяем невесть что. Это было чертовски приятно.

– Что ты им наговорил? – наседала Ася, вглядываясь в мою довольную физиономию. – Что?

– Перестань, не входи в роль таможенницы. – Я оперся задом о каменное ограждение. – И потом, даже если кто-то что-то знает... что с того?

– Знает – что? – Ася нахмурила брови. – Ты что, ты сказал всем, будто мы, – она брезгливо сморщилась, – будто мы *вместе*?

– Ася, перестань... Ну какая разница? – Я выкинул окурочку и попытался взять ее за руку.

Она вырвалась. Вдруг до меня дошло.

– А мы... А мы – нет?

– А мы – нет! – с ненавистью бросила она. – Что ты о себе возомнил?

Она развернулась и быстро-быстро пошла назад ко Дворцу. Я сел на ограждение, машинально достал

я боялся нарушить хрупкий мир вопросом, который интересовал больше всего. Один раз я все-таки попытался сказать нечто вроде «ну как тогда у Лумпянского» – Асино лицо вмиг ожесточилось, замкнулось. Больше я не пытался выяснять отношения, бог с ней, пусть будет, как она захочет. Лишь бы не убежала опять.

Это я думал в самом начале. Радовался, что мы можем снова гулять по дамбе, пару раз принес ей цветочки: одну красную разу и потом три тюльпана в шуршащей целлофановой упаковке на скрепках. «Спасибо», – кивала Ася и потом не знала, куда их деть, – норовила забыть на скамейке, небрежно размахивала ими, опустив, как пакет, пыталась оставить в подъезде за батареей. Самую первую розу, как потом призналась, она пронесла домой в рукаве и бросила в шкаф, чтобы мама не задавала лишних вопросов. Роза наутро скукожилась, бутончик осыпался, и Ася отнесла ее на помойку, пока мамы не было дома. Не постеснялась мне рассказать, да. Замечательно.

А потом я стал тяготиться – ожиданием, неизвестностью. Мне казалось, что стоит немножко привыкнуть друг к другу снова, как она сама заведет нужный разговор, ну или я пойму, что можно идти на сближение – без опасности, как говорится, для жизни. И еще мне отчаянно хотелось ее поцеловать снова. В красной жирной помаде, которой она красила губы для этюдов, в розовом блеске, к которому липли ее волосы, без всего вообще, голые губы – это было бы самое лучшее. Я думал об этом и разглядывал ее рот дольше обычного – Ася ловила этот взгляд и испуганно отшатывалась. Ранило.

Под вечер мы снова пришли в «Алые паруса» – я не собирался повторять фокус с головой Черномора, хватило прошлого раза. Мы просто ходили туда-сюда мимо скомканного железа аттракционов, она пинала ногой сосновые шишки, пару раз пробежали туда-сюда белки. «Надо было взять с собой семечек... Или что они там едят?» «Ты что, – с важным видом отвечал я. – У белок же бешенство!»

Мы пришли к «Солнышку». Была такая карусель с нарисованной рожей солнца по центру, на железной пластине, а кругом – лучи-кабинки, которые качались и двигались по кругу, типа колеса обозрения. Солнце злобно улыбалось, показывая единственный зуб – как какой-нибудь маньяк из книжек Стивена Кинга. Кабинка с номером восемь была опущена почти вровень с землей – кто-то, видимо, качал их вручную.

– Присядем? – предложил я.

В кабинке уместались два красных сиденьца, друг против друга. Сесть вместе не получилось – сиденья были слишком короткие. Я устроился напротив, колени пришлось сдвинуть набок, на сорок пять градусов к телу, плотно прижав ноги друг к другу. Замерзшие руки я держал в карманах, щупая гладкий рельеф зажигалки. Таким же образом напротив меня устроилась Ася.

Впервые за прошедший месяц мы оказались так близко друг к другу, ее лицо рядом с моим. Она не поднимала головы и молчала, мне стало стыдно и волнительно. Терпеть больше не было сил.

– Ася, – позвал я. – Ася, послушай, ты мне нравишься.

Она молчала.

– Ты даже ничего не скажешь?

Ася подняла голову и, избегая смотреть на меня, вздохнула.

– Ты мне тоже нравишься... Джонатан. Но нравишься, ну... как друг... Как собеседник, что ли?

«Я дурак, я полный кретин», – подумал я. Надо было встать и уйти, и больше не возвращаться, и не звонить ей, и, может, даже студию бросить – хотя перед премьерой я не смог бы... Но сколько проблем бы это решило!

– Ну а, – я сглотнул и все-таки продолжил, – а помимо этого? Хоть немножечко, а?

«Иначе чего было со мной мяться у Лумпянского на подоконнике», – продолжил я, но не произнес вслух.

– А больше этого – нет. В смысле, как парень – нет.

Ася подняла глаза и, наверное, заметив мое отчаяние, быстро добавила:

– Ну, может быть, каплю.

Капля – это уже неплохо. Капля камень точит, так говорят?

Мы посидели молча еще немного. Я запрокинул голову к выцветшему наркоманскому солнцу. Ася мотала головой, осматривая следы величия: разбитый белый паровозик с красивым названием «Юнга», дорожки для машинок-ралли и традиционную для любого парка высокую венецианскую карусель с расписными лошадами.

– Говорят, – я кивнул на лошадок, – что там внизу есть дверца и потайная комнатка, где видимо-невидимо лежит этих лошадок списанных. Если найдем ключ, можем проверить.

Ася усмехнулась.

– Ага, а еще зомби бывших работников, и полная «Синяя борода».

– И кентервильское привидение! – подхватил я.

– Точно.

Мы помолчали еще. Ася потупила взгляд, обхватила руками колени.

– Скучно мне, Миша, – тихо сказала она. – Грустно.

Помедлив, я осторожно взял ее за подбородок и приподнял лицо к своему. Она продолжала смотреть вниз. Я придвинулся и позвал:

– Ася...

– Не надо, Миша, – сказала она. – Пожалуйста, не надо.

Я опустил руку. Свидание кончилось.

Рассказывать – так уж все, дорогая комиссия. Если до этого я вел себя, как мне казалось, да и кажется теперь, безупречно – ничем не разозлил и не обидел Асю, был покорным, полностью подчиненным ей зайчиком, не задавал лишних вопросов и старался, по крайней мере старался, быть не очень навязчивым – то в мае я оступился. Ошибся, как у нас говорили, конкретно.

Показали Чехова. Публика, состоявшая из воспитанников других студий, всяких астрономов и математиков, наших родителей и друзей (за меня отдувались вторые), была в восторге. Аплодировали как сумасшедшие, топали и надарили цветов. Может быть, с цветами все подстроил Вадик, потому что досталось даже мне, связка красных тюльпанов с мясистыми листьями бутонов. Я помахал букетом в зал, где сидела и Ася – с блестящими глазами, довольная, показала мне даже, лично мне, палец вверх. Премьеру отмечали в маленькой гримерке, Зинаида Дмитриевна и Назя накрыли то, что называется сладкий стол – печенье, зефир, лимонные дольки в сахаре, пакетики дешевого чая и соков.

Мы ехали домой, Ася хвалила мою работу. Ничего определенного, правда, не говорила, просто называла меня хорошим актером, а Вадика – толковым режиссером, у которого, правда, слишком мало амбиций.

– А у тебя, Миша, много амбиций? – полушутя-полусерьезно спросила она.

– Много, – тихо ответил я.

И вдруг выложил все карты на стол: про то, как я тайком готовлюсь к поступлению в училище, но наше местное театральное – это тьфу, плевок, первый гвоздь в гроб карьеры. Я целился в Москву, я знал, что получится – и про конкурс в триста человек на место я тоже знал, уважаемая комиссия. Но могут ли они делать, что могу я? А главное – не могут ли они жить без этой дощатой занозистой опасной поверхности, которую называют сценой, так же, как не могу без нее жить я?

Ася задумчиво покивала и на удивление согласилась со мной – конечно, надо пробовать, конечно, надо стараться. Она и сама здесь не останется, уедет, куда угодно, только школу закончит. До моих выпускных экзаменов оставался месяц, ей нужно было доучиваться еще год. Мы приехали к Асиному дому, она сама предложила сесть на скамейку и договорить.

И вот тогда мне показалось... Показалось, будто что-то такое в ней поменялось, что она приняла и оценила меня – всего-то и нужно было, что наклеить бороденку и выйти на сцену ушлым учителем словесности с карманными часами в ладошке. Она совсем разболталась, расслабилась, повернулась ко мне боком и легла на колени. Я даже осмелился погладить ее по щекам – она только немножко вздрогнула, но ничего не возразила, продолжила болтать про родителей, про свою подружку Лерочку, про субботний концерт какой-то там ее говнарской группы и про то, как она восхищается артистом Мироновым – опять!

– Знаешь, – сказала она, – я нашла еще один фильм с ним, чуть ли не единственная его драматическая роль. Он там играет зубного врача, а Марина Неелова – знаешь ее? – вот она играет учительницу музыки, в которую он влюблен. И он в этом фильме такой жалкий, неказистый, некрасивый... Похож на обиженного утеночка. Волосы ему, я вычитала, запрещали мыть во время съемок, они там такие жидкие, серые.

Так вот он в эту учительницу влюбляется, придумывает себе чего-то. И приходит к ней домой: «Александра, я люблю вас». Представляешь? Ну и предлагает выйти за него замуж, так, с ходу. А для Александры-Нееловой это последний вариант, ей под тридцать уже, она с мамой живет и долбанутой сестрой. При этом, как потом окажется, любит она другого, того самого приятеля, на именинах у которого они познакомились. И как только тот, Бедхудов, ее поманил снова пальчиком, она и сбежала. Считай, из-под венца сбежала, там такая сцена: она, как ненормальная, собирается, кидает какое-то тряпье в сумку, отпихивает сестру и сбегает. А Фарятев приходит к ней, жалкий такой, и узнает об этом – и там дальше такой крупный план: у него усталое-усталое лицо, белесые длинные ресницы, он сидит и часто-часто моргает и шепчет: что что-то упустил, что-то сделал неправильно...

А в середине еще он говорит своей этой Александре... Длинный-длинный монолог, надо смотреть, я так не расскажу. Но суть в том, что мы все роди-

лись не на этой планете. «Мы инопланетяне, так сказать»... И из-за этого все наши беды, все недопонимания, поэтому мы так мучаем, обижаем друг друга – и нужно только вспомнить, что все мы – братья по несчастью, нужно только предстать, что то, что нам кажется *важным*, может быть вовсе *неважно*, а то, что кажется второстепенным – главное и есть...

Она замолчала, разглядывая чердачное окно под самой крышей.

Я так и не рассказал, за что мне стыдно. Собственно, поводов было два.

Первый – то, что я пришел к ней тогда. Был уже конец мая, и я прибежал на воскресную репетицию как на остров благодатного спокойствия. Метафора про воздух не выходила у меня из головы, все смешалось: Ася, студия, ребята, песни под гитару у Лумпянского – в противоположность брюзжанию матери, бесконечной зубрежке к экзаменам и толкотне в поисках приличного костюма на выпускной – «субтильный у вас какой мальчик, придется на заказ шить». «Воздуха, воздуха, воздуха, – стучало в голове, когда я несся по ступенькам от собора, разглядывая фигуры курящих на крыльце. – Не хватает воздуха!»

Ася стояла с Катей и Лумпянским у большого окна в коридоре, вместе они изображали что-то к контрольному уроку. Простые трюки вроде памяти физических действий давно кончились, музыкальный раздел отменили из-за болезни Вадика, и теперь младшая группа подплывала к самому сложному – наблюдению, так называется учебный раздел вроде пародии, но без гротеска. Наблюдать предлагалось за всеми: за спящими в душных автобусах старухами, торговцами на рынке, почтительными мусье на остановках и в парках, профессорами из соседнего университета, которые часто читали свои фолианты в скверах, одной рукой оглаживая бороды – почему-то этим филологам прямо-таки полагается носить окладистые сухие бороды. Иногда выбирали и кого-то из группы, чаще всего показывали толстого Максима или раздолбая Широковашина, иногда доставалось и Кате с ее бесконечными прыжками и ужимками. Меня не показывали почти никогда, только если на кухне у Лумпянского в качестве тренировки. Показывали глупо, непохоже.

Я подошел поздороваться, Лумпянский как раз объяснял, что Вадик не любит в такого рода работах: нельзя показывать гардеробщицу, каждый год

он смотрит таких этюдов по пять штук и ужасно бесится. Нельзя изображать голливудскую звезду, лобую, а собирательный образ – тем более... Вот научитесь, тогда и показывайте. Нельзя еще показывать самого Вадика – скажет, что получилось неталантливо, что, кроме запрокидывания головы и бутылки с колдой, ты ничего и не уловил. Тем более нельзя показывать Елену, и уж конечно нельзя делать наблюдение за самим собой.

Ася внимательно слушала, потирая подбородок ладонью, Катя сидела на батарее и оправляла мастерку – как ей только не жарко?

– Кстати говоря, – обратилась Ася к нам с Лумпянским, – мои уехали на неделю в деревню. Приглашаю всех в гости.

– Ууу! – заулюлюкала Катя, вскидывая короткие ручки. – Кутим!

Показалось, что Ася заговорщически подмигнула мне – по крайней мере, она точно смотрела в нашу с Лумпянским сторону. Я решил, что придду завтра – и ежу понятно, что это приглашение предназначалось мне. После всех наших милований на скамейках («не буду у тебя лежать на коленках, мама увидит»), после ее бесконечных панегириков моему учителю словесности и минутной жалости («бедный мой, бедный» – даже погладила меня по голове) я ни на секунду не сомневался, что прийти мне можно, и там, где никто не увидит... бог знает, что будет там. Я правда не очень задумывался, что мы будем делать, оставшись вдвоем. Решение было принято.

На следующий день я написал ей сдержанное: «привет! дома?» Ася, однако, ничего не ответила. Я посмотрел на время выхода в сеть: пять минут назад – точно дома. С двух часов я сидел одетый, поглядывал на часы – и, признаться, волновался. Конечно, наверное, не стоило приходить к ней без предупреждения, дорогая комиссия, но, во-первых, мне очень хотелось, а во-вторых, я уже настроился, и собрался... И очень хотелось, это главное, да.

Я позвонил ей несколько раз, в трубке – длинные гудки. Послал эсмэску: «ку-ку!» Ничего, нет ответа. Я проверил еще раз – больше Ася в сети не появлялась. «В конце концов, – подумал я, – даже если ее нет, подожду на скамейке. Сто раз ее ждал, по часу, бывало, ждал – ну и сейчас подожду. Но наверняка она дома. Может, спит?»

Я обулся и вышел. На глаза попался продуктовый, тот, у которого «сменили вывеску», – я подумал, что неприлично приходить с пустыми руками, и купил две плитки «Альпен Гольда» с клубникой. Проходя по Минской улице, там, где мы в апреле

прыгали по лужам, я набрал Асю еще раз. Бесплезно, бесполезно.

Домофон заулюлюкал совсем как Катя, когда собиралась «кутить». Может быть, Ася поехала к ней? Я нажал еще раз. Та ли эта квартира? Та – последняя в доме, я знал окна и столько раз видел, как она звонит родителям: «скиньте сумку», «откройте, я ключ забыла». Все-то она теряла, забывала, бросала на полпути. Вот и сейчас, может, забыла про меня?

Дверь открылась, вышел какой-то интеллигент в очках, с оранжевым спицем на поводке. «Проходите, пожалуйста», – добродушно позволил он. Я оказался в темной прохладе подъезда.

Асин пятый этаж был огорожен, решетку обвивали искусственные цветы и лианы. Я разглядел ее дверь с золотистым номером и нажал на кнопку звонка. Тишина. Я помялся, спустился на один пролет вниз, посмотрел в окошко. И ничего отсюда не видно, никаких скамеек – только мусорка и новостройки на горизонте.

Я собрался с духом и попробовал еще раз – ну, была не была. И еще раз. И еще разочек посильнее. И длинное нажатие.

Ладно, я звонил ей добрых пятнадцать минут.

Наконец из глубины комнаты послышалось:

– Да сейчас! Сейчас, сейчас же!

Я подождал еще и зачем-то нажал на звонок снова. Послышались быстрые тяжелые шаги, и дверь – сначала деревянную, потом голубую железную на лестнице – открыла Ася. Голова у нее была обмотана полотенцем, из-под серого халата торчали голые ноги.

– Ты? – удивленно спросила она.

– Я! – довольный своей осадой, ответил я.

Ася зачем-то заглянула мне за спину, окинула взглядом лестницу.

– Ты один? А впрочем, давай, проходи.

Мы очутились в маленьком темном коридоре, пахло гречневым супом и кошатиной. Ася закрыла за мной дверь, выставила пару мужских огромных шлепанцев.

– Вот. Разувайся, проходи на кухню... увидишь. Я тут, с вашего позволения, немножко моюсь, – смущенно добавила она, скрываясь за коричневой дверью ванной, вход в которую был здесь же, в прихожей. «Вот почему это называют предбанником», – отстраненно подумал я.

Квартирка оказалась маленькой, но уютной: проходная комната с разложенным диваном, телевизором и низким журнальным столиком, повсюду расставлены разноперые рамки с фотографиями. Вот

Ася грызет ухо плюшевого зайца, вот она с папой, вот с элегантной строгой мамой в костюме джерси. Я прошмыгнул в тесную кухню и осмотрел сверху до низу утыканный магнитами холодильник «Полюс»: какие-то мыши, Сочи, почему-то ночные огни Саратова, джигит пьет вино из кубка, резиновая ветка винограда.

Ася долго не появлялась – выйдя из ванной, она зачем-то заперлась в дальней комнате (я даже слышал скрип щеколды), шумно раскрывала шкафы, включала свои говнарские песни. Наконец, она предстала передо мной в другом, розовом атласном халате с бабочками. Мокрые волосы она распустила по плечам, не расчесываясь, и зачем-то напялила черные капроновые колготки.

– Чаю? – предложила она.

Я заметил, что лицо у нее намазано каким-то оранжевым кремом.

– Давай, – согласился я. – Вот еще. – Я подвинул к ней шоколадки.

Ася почему-то покачала головой. Все было нормально: мы говорили о студии, Ася жаловалась на школу и какие-то дурные зачеты, все в этих гимназиях не как у людей. Я уже достал ее, наверное, своими причитаниями про Ивана Денисовича и «Тихий Дон», поэтому начал балагурить – ну, и от смущения, конечно. Чужой дом, чужой устав, чужая девушка в розовом скользком халате на поясе, почти «Бриллиантовая рука» – ассоциация, о которой я не преминул ей сообщить. Ася фыркнула и пожалала плечами:

– Но ты ведь и вправду *сам* пришел. Погоди, кстати, мне надо позвонить.

Она опять оставила меня одного. Я допил остывающий чай из прозрачной кружки, дорассматривал магнетики и решил пойти за ней. С Асей мы столкнулись на пороге дальней комнаты, она отступила и сделала приглашающий жест:

– Только у меня там бардак страшный, ничего?

Бардак и вправду был жуткий – и это при том, что, как я потом узнал, Ася имеет привычку просто собирать весь свой хлам в свой огромный угловой шкаф для одежды, запихивать, утрамбовывая ногами. Над компьютерным столом у нее висело три рамки: конечно же, с Андреем Мироновым, который смотрел через плечо в костюме Фигаро, с лидером армянских рокеров бородатым Сержем Танкяном и еще одна – пустая, без стекла, нарочно криво повешенная.

– Я хотела наклеить сюда надпись, – пояснила Ася. – «Свято место пустым бывает». Но потом передумала.

Она плюхнулась на диван и предложила смотреть кино. «Давай я покажу тебе “Фарятьева”?» Я понуро согласился – в сущности, мне было все равно, что смотреть, дело было, как догадывается уважаемая комиссия, вовсе не в этом. Ася заварила еще чаю, принесла нам две кружки и какие-то бутерброды. Я напомнил про свои шоколадки – усмехнувшись, она принесла и их. Сама она полулегла на диван, я сел в кресло напротив монитора, и в такой мизансцене мы провели полтора часа.

– Хороший фильм, – наконец сказал я, зажимая паузу пробела, когда по экрану поехали титры. – Жизненный.

Ася не уловила иронии и ничего не ответила, продолжая валяться в той же позе. Стало неловко и боязно. Ася согнула ноги, давая мне больше места, и заложила правую руку под голову – я уловил в ней какой-то призыв, любование собой. В комнате становилось все темнее, солнце почти уже село.

Я тронул ее предплечье, скользнул рукой вверх, по гладкой ткани халата. Ася склонила голову набок и посмотрела на меня... дразняще, вот как она посмотрела на меня. Я погладил острое плечико опущенной руки, провел пальцем по подбородку. И потом, разумеется, я наклонился и поцеловал в губы – сначала сухо, потом, почти насильно приоткрывая ей рот своими губами, взасос, заталкивая внутрь свой мокрый разбухший язык.

И она не сопротивлялась, дорогая приемная комиссия. Она даже отвечала и даже положила ладони мне на лицо, вполне нежно. И когда я придвинулся, и когда я спустился к шее, к ее гладкой шее, пахнущей земляничным гелем для душа, и когда я терзал ее шею губами – она не сопротивлялась. Она тяжело дышала, она охала и постанывала – да, постанывала!

И когда я раздвинул ее ноги в черном капроне, раздавил их своим джинсовым коленом – она ведь не сопротивлялась. Она обхватила мое колено бедрами и стала тереться, и охать, и постанывать еще громче. И она подняла свою ногу вверх, специально подняла, ощупывая – да, встал, конечно, встал – и опустила, привлекая меня к ключицам, к ложбинке груди, ниже...

И, конечно, я натолкнулся на ее халат – гребаный атласный халат, связанный тройным морским узлом в районе пупка. И конечно, я взялся за пояс и даже потянул его, распахивая – потому что это было бы так логично, так естественно, потому что даже через халат я чувствовал ее горячее упругое тело, ее юное тяжелое дыхание, вздымающуюся мягкую грудь...

А потом произошло следующее. Произошло то, что она ударила меня по руке – ощутило шлепнула раскрытой ладонью. Как таракана шлепнула, брезгливо.

Я вопросительно поднял голову.

– Нет, – сказала она, отпихивая меня коленом – тем коленом, которым всего минуту назад изучала содержимое моих штанов. – Нет.

Я и сам уже тяжело дышал, меня качало мутной волной желанием, и я спросил – со смешным придыханием, которое мне потом дорого обойдется:

– Почему? Почему нет?

Ася рассмеялась, как-то очень злобно, поднимаясь с дивана и давая понять, что сеанс окончен. Окончен, и возражения тут не принимаются, как и мои канючащие «пожалуйста», извинения и, как она выразилась, «прочее тупое нытье».

– Твою мать! – вдруг взвизгнула она. – Это тут откуда?

Я повернул голову: покрывало с бежевыми клеточками, выглянувшее из-под него одеяло и наволочки с рисованными куклами, белая простыня – все, все, все было в сгустках жирной коричневой массы. Двумя пальцами Ася подняла покрывало – в щели между спинкой и матрасом валялась обертка из-под клубничного «Альпен Гольда», остатки которого таяли и растекались по ткани.

Ася осмотрела себя в зеркальной дверце шкафа и выругалась: весь зад ее розового халата был перепачкан шоколадом. Та же участь постигла мои джинсы – я с ужасом думал о том, как пойду в них четыре остановки до дома, а главное, что скажет мне мать. Запершись в крохотной ванной, где еще стоял жар после купания, я стыдливо замывал пятна хозяйственным мылом, а потом сушил маленьким дорожным феном, который от щедрот кинула мне раздраженная Ася.

– Давай, – сказала она, – мне убраться нужно. Родители приедут – устроят скандал.

Я досушивал брюки прямо на себе, болтая феном на уровне пояса.

– Так они же нескоро приедут? Через неделю, что-то такое, да?

Ася замялась, оглядывая меня почему-то с презрением. «Запомнил, да?» – читалось в ее взгляде. Запомнил, запомнил.

– Изменились планы. Давай, а то и тебе достанется.

Уже натягивая кеды, я вдруг увидел в прихожей знакомую книжку песок, про «лабораторию юного артиста».

– А это у тебя откуда?

– Лумпянский дал почитать, – пожал плечами Ася.

ровке – платформа прибавляла мне пару сантиметров роста, тоже плюс. Ася посмотрела на мои ноги и прыснула, Лумпянский улыбнулся:

– А пакет тебе зачем?

– В пакете еда, – мрачно ответил я.

Там и правда лежали две бутылки газировки, один бичпакет, бутерброды и почему-то банка майонеза, которую мать всучила мне с собой.

Объявили отправление, мы засунулись в вагон. Я мысленно проклял Лумпянского за то, что выбрал душный вонючий плацкарт вместо быстрого автобуса – но делать было нечего. Ждали еще одну девочку, какую-то Нику, дальнюю знакомую Лумпянского, которая тоже ехала на концерт, но тусоваться там собиралась со своими друзьями. Я застелил свою верхнюю полку, разулся – Ася брезгливо скорчилась, увидев нутро моих шнурованных «гадов», – забрался, опираясь носками о стол, и лег, разглядывая низенький свод пластикового полотка. Ася спорила с Лумпянским о том, почему двухлитровая бутылка минералки не может стоять ровно: это стол в поезде кривой или тара «Липецкой»? Выяснилось, что виновата бутылка, «баклажка», как говорят у нас. Поезд дернулся, на сиденье рядом с Асей плюхнулась раскрасневшаяся полная девочка с растрепанными кудрями. Она тяжело дышала и тащила с собой целый чемодан – это и оказалась неизвестная Ника.

Ночью я проснулся от внезапной тишины – какой-то городок, длинная остановка. Светила жидкая луна и тревожные белые фонари. В их свете Ася, уткнувшись носом в наволочку, казалась совсем маленькой, беззащитной, безмятежной.

Я рассматривал ее долго, задумавшись обо всем, что случилось за год. Туда-сюда сновали проводницы, кто-то затаскивал чемоданы, шуршал пакетами с бельем, вскидывал накрахмаленные простыни в проходе, как флаг убитого корабля. Какая-то сердобольная бабка, проходя мимо Аси, поправила ей скатившееся было на пол одеяло – и Ася скинула его снова, от жары. Мир так беспокоился об Асе, так кудахтал и крутился вокруг нее, наворачивая свою заботу, а она была ей совсем не нужна, совсем. Так же, как и я со своими советами, цветами, комплиментами, дразнилками и подбадриваниями. Я был не нужен Асе, как ее любимый доктор Фарятьев своей Александре, и так же глупо хлопал белесыми ресницами, не в силах этого понять. И так же выводил из себя, когда крутился рядом, все время подтыкая ненужное одеяло, которое она все равно скинет. Она была моим воздухом. А ей легче всего дышалось в одиночку.

* * *

Армянские говнари были выше всяких похвал – и даже я, не знающий ни одной песни, подпрыгивал и лез в бессмысленные «моши», что-то типа драки в танцевальном партере. Мы стояли достаточно далеко, но я все еще видел фронтмена с бородкой, смешно воздевающего руки Господу. Ася – и подавно, Лумпянский пропихнул ее к самому ограждению, откуда она бесновалась, орала и прыгала на волне общего экстаза. Я никогда не видел ее в таком состоянии, ни до, ни после – зрелище ужасное.

Мы выбежали из зала – вернее, нет, оголтелая толпа вынесла нас через пожарный выход, – мокрыми до нитки, охрипшими и не чувствующими ног. Ася и Лумпянский продолжали орать песни и бесноваться – как и все кругом. Они фотографировали друг друга на Асину серебристую мыльницу, скакали и допевали обрывки песен. «Миша, скажи, что крутой был концерт! Ну, скажи!» «Крутой», – спокойно соглашался я. Ася цокала языком и брезгливо отворачивалась. Я «портил ей веселье своей кислой рожей», вот так.

Ночевали на вокзале, спали сидя. Вернее, это Лумпянский дрых без задних ног, отвоевав скамейку у какого-то бомжа. Дремала Ася, положив голову на локти, а локти – на стальные перила сидений. Я же старался не спать, охраняя ее, – мало ли что может случиться. В качестве наблюдательного пункта я выбрал стулья кафетерия напротив, что-то там с картошкой. Лумпянского пару раз толкнули патрульные, у меня и вовсе проверяли документы как минимум пять раз за ночь. Но Асю никто не трогал.

Утром мы поехали гулять на вэдээнха, бродить между павильонами и фотографироваться с фонтаном из золота. Вернее, это Лумпянский с Асей фотографировались, а я упрямо отказывался и предлагал только «шелкнуть» их вдвоем. Ася купила лакированную матрешку, не обращая внимания на мой сарказм, и потащила нас в фастфудную забегаловку. Там Лумпянский рисовал что-то на салфетках и пытался растормошить меня: «Джонатан, ты чего? Болит, что ли, что-то?» «Болит», – многозначительно отвечал я, косясь на Асю. Она это замечала, закатывала глаза и начинала атаковать меня уже открыто: «Зачем было вообще ехать сюда? Ты даже это не слушаешь!» И контрольный: «Майонезную банку-то выкинул уже?»

Обратный поезд уходил в два часа. По ошибке – по Асиной ошибке! – мы поехали по кольцу в обратную сторону и бежали к своему вагону со всех ног.

– Что ты сказал? – переспросила она.

Я осекся – неужто назвал ее Асиным именем? Не могло такого быть, в ушах еще звучало последнее «ть».

– Я ненавижу, когда так говорят, – почти заорала Катя. – Это вообще не смешная шутка, и оставь такой туалетный юмор при себе. – Лицо у нее покраснелось, на глазах выступили злые слезы. – Себе оставь... или своей Мироновой! – Она выплюнула последние слова, вошла в подъезд и с грохотом закрыла железную дверь.

– Пока, Кать, – пробормотал я. – Пока, Кать... Пока, Кать...

Наконец до меня дошло – и я расхохотался громко, на весь двор, напугав соседскую старушку с клюкой. Пока, Кать, присядь покакать. Хорошая, умная девочка, нашла хороший повод послать меня к черту. И поделом.

* * *



В августе я все узнал, узнал от дурной забламученной Кати. Она пришла на петанк уже одна, без Аси, вилась вокруг Чигирева и строила глазки Широкашину, снимая широкие стрекозьи очки. Назад мы шли вдвоем, Катя сказала, что ей нужно в мою сторону – к какой-то школьной подруге, помогать со шпаргалками на вступительный. Решили пройти с правого берега на левый пешком – осенью, в самом начале, мы постоянно так делали, собирая огромную компанию отчаянных. До конца доходили не все: кто-то все же ловил автобус на ближайшей остановке, какие-то парочки откалывались по пути и сворачивали в ближайший парк, кто-то заходил погреться в кафе, да так и не выходил оттуда, отпуская гуляющих с миром.

Так я впервые увидел Асю. Случился какой-то затор, автобусы не ходили, и мы шли пешком, ничуть, впрочем, не унывая. Лумпянский орал песни, Чигирев уже щипал свою Леру, Юлия изображала лисичку, смешно фыркая. А на Манежной стояла худая сутулая Ася в бежевом плащике, стояла, нахохлившись, и ловила такси. Я запомнил ее дымчатую грустную фигурку, запомнил и поразился какой-то беззащитной силе... Может, тогда все и началось?

– Миша, – явно что-то задумав, спросила Катя, когда мы подошли к мосту, – а, Миша! Дай мне, пожалуйста, сигарету.

Я покорно вынул из кармана пачку «Бонда» и протянул ей. Она разочарованно закурила. Я рассказывал про туры на экзамене, Катя кивала и старалась запомнить – на будущий год она тоже

собиралась в театральное, учиться на актрису или режиссера. «И никем, кроме этого, – вздыхала Катя, – я себя не вижу». «Понимаю, Катос», – с усмешкой отзывался я.

Потом Катя попросила у меня денег – и я дал ей последний полтинник. Потом – купить ей булку, и я купил, разменяв мелочь. Она разочарованно вздохнула и остаток пути давилась сухим слоеным тестом. Мы почти уже подошли к Минской улице, дальше ей нужно было идти налево, а мне – направо, домой.

– Миша, – уже отчаянно прошептала Катя, сдерживая смех, – дай мне миллион долларов?

Я лениво ухмыльнулся, придумывая ответ:

– У меня нет...

Но Катя тут же перебила меня, изображив, что томно задыхается:

– Хых, пых, пых.. Почему нет?

И тут же заржала, как лошадь.

– Почему нет, почему нет, почему нет?

– Что это еще такое, Катя? – переспросил я. – Что это?

– Это я тебя, Мишенька, пародирую, – кривляясь, ответила Катя. – Репетирую свое наблюдение на будущий год, смекаешь? Этуд будет называться «Как Мишутевский к Асеньке приставал».

Мишутевским меня называют часто, я привык. Но так издевательски – еще никогда.

– Ты откуда это знаешь, колобок?

– Знаю, – кивнула Катя. – Я все знаю. И как ты ее слюнявил на дне рождения Лумпянского, и как мозги компостировал после. И как приперся к ней с дешевой шоколадкой и начал вдруг приставать ни с того ни сего. И как ныл ей и пытался облапать – озабоченный ты мандец, Мишутевский! И как зазывал домой, «а у меня дома мя-я-ясо в горшочках», – она противно скорчилась, изображая сюсюканье. – Мясо! В горшочках! Тут кого угодно стошнит, Мишутевский.

Я не помнил про мясо. И про то, как ныл, тоже. В ушах у меня стоял нервный звон, я пытался хоть что-нибудь сообразить.

– Она тебя за глаза называет гусем. И гномом еще. Пойми, пойми и отстань от нее. Ты видел себя? Не едь за ней и не ходи больше. У нее вообще другой, ты только все портишь. – Катя победно развернулась и собралась уходить.

– Подожди. – Я тронул ее за локоть. – А кто это... другой? Я его знаю?

Катя посмотрела с брезгливой жалостью, как на паука, которого вот-вот раздавит.

– Ты его знаешь, Мишутевский.

Меня вдруг осенило.

– Это Лумпянский, да? – Я сжал Катину предплечье. – Лумпянский?

– Отвали! – Она сбросила мою руку сильным движением. – Слушай, Миша, не надо мешать им, ладно?

* * *

Но отвалить я не смог. И не мешать – тоже. Во мне проснулась жажда мщения.

От Минской улицы до Асиного дома – одна остановка. От Минской улицы до моего – три. Выбор, как говорят в рекламе, очевиден.

Я пришел к ней во двор, на красные петунии, под раскидистые платаны, и что там еще у них растет. Мне, признаться, было не до платанов, меня трясло от злости. Гусь? Гном? Пытался облапать? Слюнявил? Приставал?

И когда у них все началось с Лумпянским? После поездки? Или даже раньше?

Дурак, дурак и кретин!

Я нашарил взглядом ее окна – самое правое, окно ее комнаты, горело желтым светом. Вот и замечательно. Где-то играл кларнет, простейшие гаммы. Ничего, он мне не помешает.

– Ася! – заорал я, приставив руки рупором ко рту. Совсем как зазноба на старой аватарке. – Ася! Ася Миронова!

Никто не отвечал, кларнетист продолжал кататься туда-сюда по нотному стану.

– Ася! Отзовись ты, слышишь! Ася-я-я! – Я даже назвал ее настоящую фамилию, из одних глухих и шипящих. – Асенька-а-а-а!

– Чего ты тут разорался? – вдруг послышалось сзади. От неожиданности я подпрыгнул и развернулся. Позади меня стояла Ася и в недоумении рассматривала мою глупую физиономию.

При виде нее, как всегда, моя решимость куда-то испарилась. Она была одета в полупрозрачную кофту с красными цветами и длинным вырезом, с декольте, как говорят дамы постарше. Я рассматривал белые полоски на ее плечах и груди, потемневшие длинные руки, совсем короткие шорты, напряженный, какой-то повзрослевший взгляд. Она была совсем не крашена, скулы блестели от пота, губы совсем голые и сухие.

– Я тебя ищу, – со всем возможным спокойствием ответил я. – Надо поговорить.

Ася пожала плечами – хорошо, мол, поговорим. Почему-то озираясь по сторонам, как будто прятала серийного убийцу, она завела меня за соседний дом, точно такой же, как ее собственный; они тор-

чали из-под земли, как ряд костяшек домино. Мы сели на скамейку.

– Слушай, – холодно сказала Ася.

Я выдохнул. Что мне сделать? Что спросить? Я шел сюда в надежде оттащить ее за волосы, накричать, назвать шлюхой – или хотя бы узнать: почему Лумпянский? Чем его карлсоничья фигура лучше моей собственной? Чем он талантливее? В чем умнее? Неужели дело только в высоком росте – ну так ведь не может быть, Ася? Или в том, что у него полно девчонок, кроме тебя, и что он разобьет тебе сердце? В этом дело? В смазливой роже и квартире на берегу цветущего водохранилища?

Но вслух я сказал вот что:

– Я люблю тебя, Ася. И ты это знаешь.

Она вздохнула – раздраженно и виновато, опустив взгляд на свои высокие безвкусовые босоножки, из которых смешно торчали большие пальцы ног.

– А я не люблю тебя, Миша. И ты это знаешь тоже.

Не знал, дорогая Ася, оказывается, не знал. Иначе с чего бы у меня так ухнуло, с мерзким тошнотворным свистом провалилось куда-то в желудок сердце? Предательски задрожали губы, захотелось что-нибудь тревожно помять в руках – например, твою наглуемую сучью морду. Или морду Лумпянского. Я не знал этого, Ася, хотя думал, что знаю.

– И что же, – противно сморщившись (держись, Михаил, ты великий актер), – ты теперь будешь миловаться, «лизаться», как ты изволила выразиться, с Лумпянским, да?

– Не твое это дело. – Ася помотала головой.

– А почему, – я уже еле сдерживался, – почему бы не сказать мне раньше, что это не мое дело, а? Зачем я приезжал к тебе, зачем отдавал свою куртку и потом валялся с ангиной, зачем дарил цветочки вместо завтрака, зачем ездил на твою гребаную говнарскую группу, зачем засылал тебе каждый день свои записки и песенки?..

– Я не знаю, зачем ты посылал мне песенки, – перебила Ася. – У меня даже наушников дома нет. Не слушала я твоих британцев, уж прости великодушно.

«Прости великодушно» – это у нее любимое. А еще «жесть». Вот это была «жесть».

Я вскочил со скамейки и встал прямо перед ней. – Зачем было приглашать меня к себе? Чтобы отшить потом? Отлупить по рукам, как вора? Посмеяться со своей жирной пингвинихой Катей? – Ты пафос-то свой актерский поумерь. – Ася сморщилась и отвернула лицо. – И отойди от меня. Я тебя тогда не звала, – тихо добавила она, когда я снова сел на скамейку. – Точнее,

